

Руслан Смородинов

МАРЬЯ

ПОВЕСТЬ

** ** *

Уже много лет сука не щенилась. А в эту ночь ей приснился сон, что хозяин взял ее кутят, закутал в тряпицу и потопил в реке. Собака жалобно взвизгнула и, не удержав сна, проснулась.

Стояла безветренная летняя ночь, и влажная трава своей прохладой быстро прогоняла дремоту.

Сука подошла к своей миске и посмотрела на косточки, некогда принадлежавшие куриному телу, но не притронулась к ним, жалеючи о скорбной судьбе несушки. Несколько дней назад эту курицу переехал грузовик. Птица осталась жива, но вывалившиеся из ее клоаки кишки никак не хотели возвращаться в нутро и волочились за курицей кровавым хвостом. Не могло быть и речи, что она будет нестись; и вчера хозяин сварил из нее суп, преподнеся собаке то, что ему не съедобно.

Сука еще раз посмотрела на миску и отошла в сторону. Как всякая неразумная тварь, она не допускала раньше, что может однажды умереть насовсем; даже само понятие смерти было ей непонятно.

Но теперь псина осознала: время ее пришло, и не уклониться от смерти никакими возражениями.

Неестественная тишина окутала село. Казалось, земля онемела не по привычке: и петухи не заводили своих перепелов, и собаки попрятались, и даже мерзкие коты не выходили на свою охоту.

Собака подняла вверх сухой нос и посмотрела на вечное небо. Незваная тоска поселилась где-то под ее ребрами и не хотела уходить. Сука завывала, завывала смирно и обречено, выпуская звуки из горячей пасти навстречу звездам. Собачья отповедь лилась в пространство, будто пыталась согреть простуженный воздух, и полная луна неживым идиолом наблюдала за этой сценой.

Суке немного полегчало, и она окончила свою неинтересную песню. Теперь и помирать было не так грустно. Псина снова взглянула на миску и, поняв, что принимать смерть натошак будет благородно и легко, опустилась на траву полопавшимися сосцами. Она закрыла глаза, но не на смерть. Не утратив памяти о жизни, собака представляла себя молодой сучкой, звонкой и глупой.

Но вдруг из мира послышался какой-то шорох, и псина отвлеклась от воспоминаний. Открыв глаза, она увидела, как из ночи к ней приближалась чужая девушка. Сука была рада с кем-либо разделить свои интонации и поэтому даже

не заметила необычное в одежде девушки. Поджав хвост, она двинулась навстречу другу. Два существа — человек и собака — стояли супротив, и окружала их нереальная гармония, не определяемая мыслью.

Но вскоре что-то разладилось, разрушилось. Сука учуяла недоброе — это был запах смерти. Именно! От девушки сквозило холодом и могилой. Она была мертва.

Жалобно скуля, собака отползла от человека и бросилась прочь.

Воздух застыл в оцепенении, и ничто не выдавало себя ни малейшим кротким движением.

Мертвая, постояв с минуту, пошла дальше, и серебряный диск луны освещал ей путь...

** ** *

Свежесть наполняла легкие и помогала осознать всю прелесть существования на грешной земле. Обессилел и затих летний дождик. Одна из капель усердно пыталась удержаться на зеленой иголке молодой сосны, но — тщетно: сорвавшись, она пополнила лужицу, образовавшуюся на шляпке сыроежки. Несмело показались из муравейника первые трудяги, и где-то поблизости красиво запела птица.

Я приближался к селу.

... История эта началась в августе 1982 года. Получив отпуск, я поехал погостить к бабушке.

Здесь, в лесах северо-восточной области Рыбинского водохранилища, обитали кабаны и лоси, да и мишку видали. Вверху небесная синь разлилась — повсюду, куда взгляд доходит, докуда дотянуться может. Тишина стоит в сосновом бору, хотя в ветер лес шумит гарпиевым гулом и вершины сосен гнутся вслед уходящим облакам. Опасно срезать путь в бору: свернув с дороги, можно угодить в лесные болота, покрытые осинкой и ольхой. Далее, за лесом, открываются скошенные луга, заставленные, как шахматная доска, стогами.

Когда я подошел к бабушкиной избе, то сразу отметил, что березка под окном подросла, вроде как приневестилась, а жерди в ограде сгнили и своим видом молили о ремонте.

— Андрей?! — услышал я из окна. — Ты, что ль?.. Приехал! — это бабушка. Обрадовалась, конечно. Соскучилась.

Яков на покос не ездил. В это время он уходил в город к подрядчику, нанимался заготавливать лес на сплав.

Покос — пора трудная. Солнце печет так, что каменка в бане прохладой покажется. По-корно падает трава под острой косой. Вж-ж-ж-жих-свить, вж-ж-ж-жих-свить...

Марья косила широко и умело. Жадно. Она шла рядом с дородной бабой, которая, несмотря на свои объемы, от Марьи не отставала.

Стрекотня кузнечиков перекликалась со скрежетом точильного бруса о металл косы.

— Ну как у ты с Яковом? А? — спросила баба у Марьи, когда они точили косы.

Марья уклончиво чмокнула, улыбнулась.

— Щасливая ты, Марька! Тако́ва парня приворожила!

— Ну тебя, — махнула рукой Марья и продолжила косьбу. Трава, вздрагивая, ложилась у ее ног.

Под деревьями в тени маялись грудные дети. Они поочередно ревели и поочередно замолкали.

Капельки пота покрывали загорелые лица людей. Жара. Казалось, земля высохнет и сморщится.

Наконец дед Анисим крикнул:

— Конча-ай!

Люди собрались обедать. Разморенные жарой, они нехотя хлебали теплую простоквашу. Марья пошла к ветвистой березе, в тени которой стояла кадка с питьевой водой. Рядом с кадкой за троих надрылся младенец. От продолжительного плача его лицо, искусанное слепнями, налилось кровью.

Марья нежно взяла ребенка на руки:

— У-тю-тю-тю-тю-тю-тю... У-тю-тю...

Младенец перестал плакать, улыбнулся и полез к Марьиной груди. Необъяснимое, известное только матушке-Природе чувство любви овладело Марьей. С опаской вора она оглянулась и, убедившись, что ее никто не видит, расстегнула шушпан. Неведомая сила заставляла биться сердце девушки с двойной частотой. Младенец жадно сосал грудь, неподражаемо, по-детски злился, что не чувствует вкуса молока, и покусывал сосок беззубыми деснами.

Жара...

После бани “по-черному” и праздничного стола я, как обычно в первый день приезда, отправился в соседний хутор к своему другу Захару, с которым мы еще в детстве воровали клубнику из соседских огородов.

Уже смеркалось. С пастбища возвращалось стадо коров, образуя весомое облако пыли. На крыльце сельмага скучал Юра Суслов. Он был совершенно трезв, а увидеть его в таком состоянии удавалось крайне редко. И я расценил это как плохую примету, ибо означать что-либо хорошее Юра не мог по причине нечистоты своих помыслов.

Захар встретил меня приветливо, сообразил на стол и весь вечер рассказывал про свою любовь к Зойке.

Зойка эта была нашей ровесницей, и мой друг со школьных лет был к ней равнодушен. О чем бы мы с ним ни говорили, разговор всегда склонялся к ней.

Вот и сейчас он стучал кулаком по столу и изливался:

— Обреченный я, что ли?! Всю души извела, гадюка! Я к ней и этим боком, и тем, а она — ни в какую. Ей удовольствие, видать, доставляют мои мучения.

— Брось ты, Захар, — уговаривал я. — Бери пример с Юры Суслова...

— Суслов — развратник! Похоти — уйма, а души — ноль. Он на женщину выше груди и не смотрел-то никогда. Ему — что любовь, что картошка: всё плоть ублажает. Не человек, а кусок мяса, придаток к яйцам... Ни радости в нем, ни страданий...

— Из-за бабы страдать — все равно что...

— Люблю я ее! Ты понимаешь? Люблю-у-у! У меня вот тут, под ребрами, горит всё, всю кровь выжигает до помрачения...

И уже к концу застолья, в сильном подпитии, он доказывал, схватив меня за рукав:

— Ты не думай... это еще не галёрка... Случается, я бываю счастливым и парю в облаках... Но, Андрей, небо уходит, а я остаюсь... Остаюсь, припиленный к земле в качестве дополнения к гербарии... А хочется, чтобы — наоборот: я ушел... а небо осталось...

— Метафизика...

— Да ты слушай, мурзилка!.. Мне иногда кажется, что я не живу, а фальшиво играю на контрабасе...

— Метафизика...

— У меня душа гниет от прокаженной любви к неосуществимому... Знаешь, главных грех матерей в том, что они обрекают своих детей на жизнь!..

Так проходили все наши встречи. Тогда я не придавал особого значения словам Захара, принимая их за пьяный бред или за импровизацию прошлого актера шапито...

Только за полночь я отправился назад в село. Мои мысли были заняты Зойкой, к которой я тоже питал чувства, сходные с симпатией.

До бабушкиной избы было километра четыре. В августовские ночи на землю спускается особая темень, стирающая различия между слепым и зрячим.

Я шел уже минут двадцать. По моим расчетам, мне оставалось пройти через лесок, выйти к мосту, а там — рукой подать.

Неожиданно рядом послышался треск ломающихся веток. Мне было известно, что этим летом медведь забил колхозную корову. Я, конечно же, не корова, но ведь была такая темень, что косолапый мог и ошибиться.

Треск повторился, и ужас, покрывающий ладони инеевым потом, разбудил во мне дремлющие силы. Мои ноги замелькали пропеллером, ветки хлестали меня по щекам, и ветер свистел в ушах...

Остановился я от какой-то бездонной тишины: ни свиста ветра, ни шелеста листьев, ни топота ног.

Я, будучи уверенным, что медведь остался далеко позади, сел и принялся прочищать уши. Оглох от страха — мелькнуло в голове. Чистка ушей не дала ровно никаких результатов — я слышал только полную тишину.

Отдышавшись, пошагал я вперед в поисках хоть какой-нибудь дороги. Вскоре у меня уже не было сомнений, что я поднимаюсь в гору; и удивительно это было тем, что никаких возвышенностей поблизости не существовало...

Вершину холма освещал белый туман, и с помощью этого слабого света разглядел я церковь и колокольню рядом, разглядел я надгробные камни и перекошенные могильные кресты. Это было заброшенное кладбище.

Невероятность увиденного состояла в том, что ближайшая церковь находилась в селе Приворот, до которого было порядка двадцати пяти километров. Не мог же я такое расстояние пробежать на одном духу!..

Мне ничего не оставалось делать, как обойти погост.

Вход в церквушку был недоступен из-за лежащего на земле колокола, на бронзовой юбке которого шершавились клерикальные узоры и надписи. Я вспоминал и не мог вспомнить их значения.

И вдруг показалось мне, якобы за спиной моей стоит кто-то. Я обернулся и увидел в десяти шагах от себя незарытую могилу. Приблизившись, разглядел я эпитафию на надгробном камне и, имея некоторые познания в церковно-славянском, перевел выбитые на камне слова. Их смысл означал, что в могиле захоронена некая Марья, годы жизни которой: 1773 — 1790.

Ба-а! — дошло до меня. Да это почти двести лет назад!

Из могильной ямы поднимался туман. Я подошел и заглянул в нее...

И в этот самый миг мне показалось, что сердце выпрыгнуло из моей груди и разорвалось на траве гнилым помидором...

К вечеру жара схлынула. Солнце клонилось к закату, вонзалось в горизонт и медленно погружалось.

Грабли, косы, вилы были сложены возле телеги. Развели костер, и мужики стали сооружать балаганы. Нежные срубленные березки сгибались, связывались прутьями и образовывали скелет балагана.

Стемнело.

Бабы выпустили на волю печальную песню:

*Ой ты, до-олюшка моя-а-а
нещасли-ивая-а-а.
Ой ты, го-орюшко моё-о-о,
горе жгу-учее-е.
Я склоню-уся над реко-о-ой
тонкой и-ивою-у-у
Или, мо-о-ожет, обернусь
лёгкой тучею-у...*

Летит песня черным лебедем. Летит, стонет.

*... Разыгра-алась над землё-о-ой
непого-о-душка-а-а.
За неми-илого отда-а-ал
меня ба-а-тюшка-а.
Ой, с неми-илым я живу-у-у
ровно го-од уж ка-а-ак,
А роди-имый мой ушёл
во солдатушки-и...*

Еще долго летает над лугом этот плач без слез.

После песни молчали, думали каждый о своем. Вскоре стали просить деда Анисима рассказать историю его жизни.

Деду Анисиму было за семьдесят. Жизнь он прожил бобылем и объяснял это одной и той же историей, которую с удовольствием рассказывал и в которую никто не верил. Однако старики в селе утверждали, что первая часть этой истории — чистая правда.

— Было это, — начал свой рассказ дед Анисим, — лет пятьдесят назад, может — поболее. Проезжала чрез село наша графиня. Звали ее, как и импритрицу тонешнюю, — Анна. Да в карете ее ось лопнула. А я тоне кузнецом сельским являлся. Пришел до меня прикащик графиньский и говорит: “Ты, кузнец, кровь из носу, а почини карету. Ежели не сделаешь сие приказание гусударственной важности, ея сиятельство в балашую печаль войдет”. — “Че ж, — грю, — сделаем”. Пошел я в кузницу, и к третьим петухам карета была в исправности. Вышла ко мне графиня. Ладная такая! Как вроде наша Марья, только у сиятельства гордость на личике индюшина. “Как зовут тебя?” — спрашивает. “Анисим, — грю, — Ив́анов сын”. “На́ тебе, Анисим свет Иванович, рупь на водку”, — и уехала. На дороге лишь яблоки конские остались...

— Ну ты шпынь! — засмеялся женский голос. Смех поддержали и остальные.

— У-у, жеребцы! Че ржете-то? — вяло злился дед Анисим.

— Ладно-ладно. Продолжай. Чем дело кончилось?

— Сплю я как-то, — продолжал дед. — Сон мне мерещится необычайный. Будто я в кузнице делом своим занимаюсь, да вдруг дверь растворяется и входит графиня эта... Голая!

— Надо же так напиться! — смеялся кудрявый парень.

— Не пил я! Бог свидетель, не пил! Меня тоне изжога от браги донимала... А графиня была голая. Будто в баню пришла, а не в кузницу. Лядвеи играют, как вроде меха кузнечные, — туго, притягательно. Укусить охота!

— Шалыган ты был, дед Анисим! — ехидно вставила дородная баба. — Не то что ныне.

— Я и щас еще — о-хо-хо! — раздухарился дед и потянулся к бабе, чтобы схватить ее за грудь, но вяпался опорной рукой в конский по-

мет. — Тыфу ты, язва длинногровая! — выругался он неведомо в чей адрес.

Лошади запряли ушами. Дед Анисим не знал, смеяться ему или злиться. Он торопливо вытирал руку об траву и портки.

После тяжелой работы людям в охоту повеселиться, но уважение к старшему заставило их вскоре притихнуть и уговаривать деда закончить рассказ.

Посопротивлявшись, он продолжал:

— Грит мне, значить, графиня: “Приходи по третьему дню к Красной горе. Ждать буду”, — и исчезла, как туман на заре. Пришел я в назначенный день к Красной горе. Сижу жду, камушки в речку бросаю. Вдруг выходит она...

— Голая?

— Да не-е! В нарядах расфуфыренных, под подол — вроде коромысло вставила. Не подол — кадка! Грит мне: “Я, Анисим свет Иванович, мужем своим отравлена. Сорок дней уж прошло, а душа моя на небо не отправляется. Знаю, кузнец, полюбил ты меня. Так отомсти же, убей мужа моего, и душа моя свободной станет”. Не поверил я. А момент-то был такой — раз в жизни приходится. “Ну, — думаю, — не теряйся, Анисим!” Повалил я ее на траву и в губы ее алые бородой своей тычусь. Чую — Мать наша Богородица! — губы-то холодные! А графиня смеется и белой ручкой меня ласкает. Шепчет: “Убей мужа моего, убей”. Испугался я до мокроты в портках, пустился бежать. Как до избы добрался — Богу известно...

Дед Анисим замолчал. Скупая слеза, рожденная давно высохшими глазами, дрожала на щеке. Он встал и молча пошел к балагану.

Никто не спрашивал его, чем закончилась история. Знали от стариков, что через несколько дней после случая у Красной горы Анисим ушел в неизвестном направлении и вернулся в село лишь тридцать лет спустя. О том, что произошло с ним за эти годы, он никогда никому не рассказывал.

В метровой могильной яме лежала девушка, одетая в старинный сарафан. Длинные темно-русые волосы расплзлись по сторонам от ее головы, а на белоснежной шее зияла глубокая рана. Нельзя было определить, жива или мертва девушка. Рана была свежей, но кровь не била из нее. Девушка не двигалась и не дышала, но ее открытые глаза излучали живой, молящий взгляд. И он, этот взгляд, не отпускал меня.

Казалось, ступни мои пустили корни и навсегда срослись с могильной землею. Я уже не сомневался, что через несколько мгновений девушка встанет...

И се, небеса накренились ко мне, и узрел я *ко-го-то*, сидящего одесную бездны. И сказал он: “Эрху кай їдэ!”*. Я же не мог двинуться с места и

не мог смотреть, ибо ослеп, как котенок, и видел только *его*. “Иди и виждь!” — повторил он...

Вывернув ноги из земли, я бросился прочь. Я бежал и боялся оглянуться. Казалось мне, что девушка гонится за мной и холодные пальцы пытаются ухватить конец моей куртки...

Я свалился в какую-то канаву уже после того, как услышал в своих ушах свист ветра и хрип, исходящий из недр моего естества. Выбравшись из нее и оглядевшись, вместо возвышенности и церкви я увидел загоравшуюся зорьку.

Было над чем задуматься!

В кровь сбитые ноги напоминали о недавнем побеге.

Или это чья-то злая шутка, — отдышавшись, размышлял я, — или девушка, проходя ночью через кладбище, случайно упала в могильную яму. В обоих случаях мне необходимо вернуться. В первом случае, чтобы доказать этой девчонке, что я не верю ни в какую чушь и меня напугать невозможно. Во втором — чтобы помочь ей дойти до дома.

Кажется невероятным, но тем не менее я пошел в том направлении, откуда пять минут назад в ужасе бежал. Однако, блуждая более трех часов, никакой церкви и никакого кладбища я не нашел.

Уже давно рассвело, и кузнечики сухой стрекотней засвидетельствовали о своем существовании. Потеряв надежду отыскать заброшенный погост, вскоре я без особого труда вернулся в село.

— Где шлялся? — спросила бабушка. — Опять всю ночь у Захара гулял?

— Бабушка, — задал я встречный вопрос. — Здесь поблизости есть церковь?

— Да поболее двадцати пяти километров будет.

— Нет, я не про эту. Ближе — есть?

— Не-е, — ответила бабушка, — ближайшую церковь в начале тридцатых с землей сровняли.

И тогда я вывел самое, как мне казалось, реальное объяснение всему случившемуся: “Допился. У меня белая горячка!” И тогда, уже не в первый раз, меня посетила мысль, что с пьянством пора кончать.

Через несколько дней я непроизвольно взял карандаш и сел за белый лист. Как будто кто-то двигал моей рукой, и вскоре я нарисовал портрет, да такой! — лучше которого, без сомнения, мне уже никогда не нарисовать. По правдоподобности и выразительности он не уступал фотографии, и казалось, что лицо вот-вот оживет. Но самое удивительно заключалось в том, что это был портрет девушки из могилы.

Покос закончился. Рано утром по селу пастух гнал коров.

— У-у-о-ох! У-у-о-ох! — погонял он ленивых животных.

Федор завозился на печи. Скинув с себя тулуп, которым укрывался зимой и летом, он громко застонал:

— Марька!

Марьи на нарах не было. Она давно проснулась и ушла за водой.

* “Ερχου καὶ ἴδε — Иди и смотри (греч.).

Федор, как всегда, проснулся тяжело. Еще спящего, нещадно донимало его похмелье. Снизлась ему жена-покойница. Она хихикала и плакала, манила разделить с ней ложе — могилу.

Федор с трудом спустился с печи. Держась за сон нераскрытыми глазами, он подошел к столу. Желудочные соки подступали к глотке и пролили спиртного: дай, дай, дай — осядем.

На столе стояла четверть. Федор налил, выпил. Но не пошла, зараза! Он бросился к сливному тазу и стал блевать. Глаза налились кровью, а желудок давил на кадык и просился наружу.

Федор отплевался, пошел к столу и снова выпил. Подождал — прошла бы. Прошла. Спазмы понемногу стали отпускать голову. Легче стало.

... Позавидовать прожитой жизни Федора никому бы не взбрело в голову. Еще молодым, он полюбил дочь мельника, но тот выдал ее за богатого. Вот тогда-то и пристрастился Федор к спиртному. Женился он не по любви, скорее — по обычаю, по порядку. Жену свою регулярно бил и однажды забил до смерти. Остался он с дочкой-подростком, которая, на удивление, выросла красивой и послушной...

Федор выпил еще, он даже стал проявлять интерес к окружающему. Поэтому и сказал Марье, которая вернулась от колодезя:

— Ну, Марька, готовься, на Покров замуж пойдешь.

— За кого? — зарделась Марья.

— За Якова. Чем не парень? Радуйся, что без приданого согласен взять тебя, сиротинку.

Марье показалось, что блестящие от беспробудного запоя глаза отца выразили сочувствие.

— Сходи, Марька, в огород. Лука, что ли, принеси.

Марья вышла из избы.

Во дворе соседский петух топтал ее любимую курицу.

— У-у, олахарь! — махнула Марья рукой на петуха. Тот испугался, соскочил с курицы, пробежал некоторое расстояние, но, вспомнив о своем достоинстве, расправил перья и важно пошгал восвояси.

В огороде, нарвав лука, Марья подошла к грядке с клубникой. Она взяла зрелую ягоду, положила на язык и раздавила ее об нёбо. Вспомнился ребенок на покосе и жадные губы, прильнувшие к груди.

— Замуж... — прошептала Марья. Она водила пальцем вокруг тугого девичьего соска.

— Марька! Где ты, наконец? — крикнул через окно Федор.

— Иду, тять, — Марья побежала в дом.

В 1985 году я снова приехал к бабушке и вечером отправился к Захару. Мы пили и вспоминали молодые годы, но вскоре разговор свелся к Зойке и неразделенной любви Захара к ней. Он изливал мне

свои чувства, а я удивлялся постоянству сердечной привязанности своего друга.

Возвращаясь за полночь, я с улыбкой вспоминал то, что произошло со мной три года назад. Мертвецы! Зомби! Пить надо меньше, и ничего такого не будет.

Однако, когда, по моим расчетам, я находился вблизи того места, где меня напугал медведь (а может, его и не было вовсе), мне захотелось убедиться, что ни кладбища, ни церкви не существует.

Да! я свернул с дороги в поисках заброшенного погоста.

Блуждая несколько часов по полям и перелескам, я уже не сомневался, что давеча видел не больше чем галлюцинации. Но вскоре идти стало труднее, и с трепетом, заставляющим захолонуть сердце, я определил, что поднимаюсь в гору.

На возвышенности были те же церкви и погост...

Я сел на один из могильных холмиков и попытался сосредоточиться. Понимая, что галлюцинации не могут повторяться с такой точностью, приходилось признать, что церкви и кладбища — реальность. Но тогда три года назад или меня разыграли, или девушка действительно попала в беду, а я ей не помог. В первом случае могила будет пустая. Во втором — я увижу в ней останки несчастной девушки.

Колени заметно тряслись, но я направился к разрытой могиле и заглянул в нее...

Уже много раз в своей жизни, предчувствуя, что придется встретиться с чем-то неожиданным, я настраивал себя на самое невероятное и ужасное, вызывая тем самым защитную реакцию; но увиденное мною в могиле сразило меня именно своей ожидаемостью, так как, хотя разум и подсказывал мне всю нереальность и нелепость моих ожиданий, ожидал я как раз то, что увидел...

Девушка лежала на том же месте. За три года она не изменилась, не считая, пожалуй, того, что нижняя ее губа была прикушена. Она смотрела на меня молящим, страдающим взглядом.

Я шептал какую-то ерунду, поминая Бога и черта, и осознавал, что на этот раз у меня уже не хватит сил покинуть это заколдованное место.

Девушка лежала неподвижно, но мышцы ее были собраны для прыжка. Боже! — подумал я. Она сейчас поднимется!..

Как вдруг земля подо мной затряслась, и, падая, увидел я, как церкви и могилы рушились, как неведомая сила засыпала их землей...

Стоял я среди чистого поля. На востоке загоралась зорька, и никакой возвышенности, никакой церкви и никакого погоста рядом не было...

Иван клал печь у попа. Поп пил какую-то хмельную жидкость, от запаха которой черти упали бы в обморок, и развлекал Ивана рассказами.

— Ежели поковыряться в моем житии — целая библия получится! — говорил поп, закладывая мощными перстами себе в рот квашеную

капусту. — Аминь. Отправился я едино за осемь верст мужика отпевати, ну и напилси до святого духа. Вдова напоила. А я — агнец неразумный — не ведал тогда, оже баба есмь чорт. Кудахчет она, диавол, окрест мя; лик светлый, яки начищенный медный таз. А я, внегда узрю шибоблудную бабу, во мне сразу воспарение делается, мракобесие. Аминь... Схватил я еи да — на одр. Она, радужная, не отпускает. Перси свои — лысые горы — обнажает! Я баб много чесал, ан такой, аминь, от сотворения мира не бывало. От те крест!.. Я вспотел — хочь выжми. Токмо дело кончилось — черти появились. Целая тьма. И один (харя — ... басурманская) мя за бороду драть приноровились. Во мне буеть сразу сделалась, кричу: “Становись, хари поганые, крестить буду! Аз есмь поп!” (Я в выпитом разе — человек сурьезный), А они, нехристи, прыгают, бегают — не ухватишь. Плюнул я да вышел на двор. Ан ийти не могу — хочь поганьси, хочь крестись. Ан — черти. Да глаголит с харей басурманской: “Ты, отец Ахермандит, в Бога не веруешь, поелику до баб охоту имеешь”. Я ему: “Верю! Ныне и присно! Верю в единого Бога в Троице, и Троицу в едїннице почитаю! Токмо имею наклонность к смыслу бытия. Да от веры не отступаю ни на шаг!” Чорт интерес имеет, где мой дом? — я указал рукой. Да молвит мне Басурман: “Брести ты будешь в направлении оном, яки указал, да отступить от его не сможешь ни на шаг!” Бреду я. В сторону шага ступить не в мочи, сила нечиста! Аминь... Бреду по чаще, по ямам, по холмам. Зрю — река. Мост — в пяти саженьях от мя, ан — плыть пришлось. Да течение мя не сносит! Двигаюси по прямой-прямой линии. Аминь, прости Господи...

Поп замолчал, как бы давая пережить интригу Ивану.

— Ну? — спросил Иван после паузы.

— “Ну”! — передразнил поп. — Вышел, да село — в версте от мя! Промахнулси.

Иван покатылся со смеху.

— Ну ты даешь!.. А дальше?..

— “Дальше”! Дальше некуда: назад, к чертям, — неохота; вперед — смысла нет. Сел на дорогу и просидел до утра. Да утром чары диавольские с мя спали.

— Ты сию историю сам придумал?

Поп оставил вопрос без ответа. Выпил и сказал, подняв кверху проквашенный палец:

— С тех пор я от прямой линии бегу, яки чорт от ладана. Ибо на любую заповедь оговорка есмь.

Иван брал щепкой из таза глину и замазывал щели. Появился он в селе несколько дней назад и сразу же нанялся класть печь у попа. Иван хотя и был крепостной, но свободно ходил по деревням и селам наемным работником. Ремеслами он владел не суетно: и крышу покрыть, и наличник вырезать, и печь выкласть, и скобу выковать.

Барин обещал ему *вольную*, если в эту ходку он принесет хороший заработок, а поп как раз сулил щедро расплатиться.

Научился своему ремеслу Иван у отца. Тот тоже нанимался в окрестностях на работу и часто брал с собой сына. “Будешь, Вань, хорошо работать, — говорил отец, — не пропадешь. А барин у нас — второй опосля Бога идет. Кормилец!” Барин у Ивана действительно был человеком душевным и так же, как и отцу, обещал ему откупную вольную. Отцу она не досталась, ибо однажды в лесу задрал его кабан, но Иван за нее держался твердо.

Когда Иван пришел в село, он сразу же приметил одну девушку, которую видел мельком. Она несла коромысло, и волосы ее почему-то не были собраны в косу. Иван невольно позавидовал ее волосам, которые так легко и безнаказанно могли ласкать плечи и щеки этой красавицы. Она очень напоминала жену барина, которая умерла несколько лет назад от неизвестной болезни. Только эта была моложе и... как-то хрупче, что ли.

— Поп.

— Аиньки? — поп безжалостно давил капусту.

— Через три дома от твоего девка живет...

— А-а!! — почему-то обрадовался поп, — ты тоже!

— Что “тоже”? — не понял Иван.

— Тоже влюбилси. Любовь, — поп выдержал паузу, — яки понос: приходит неожиданно! — Он шутил плоско и точно, как сковородником по голове. — Марией еи окрестили. Марька. Всех с ума посводила, порождение сатаны и святого духа! Красавица, яки с иконы выпрыгнула! — Поп выпил еще. — Токмо, Иоанн, жених у нея есмь — Иаков. Аминь глаголю: не вожделей — не поведет, куда не хочешь...

И поп опустил веки на свои честные, осоловевшие глаза...

— Ну че, нагулялся? — встретила меня бабушка. — Ты зря с Захаром самогонку пьешь. Он ее у Вассы покупает, а эта ведьма ее через дурманящую траву гонит. Дурачком стать можешь.

Я покопался в своей комнате и нашел портрет, нарисованный мною три года назад. Меня передернуло, когда я взглянул на него. Сходство портрета и девушки из могилы было поразительно. Необыкновеннее всего были глаза, они глядели из самого листа бумаги. Веки наполнялись влагой, и таинственная сила портрета умоляла меня о чем-то.

Вложив рисунок в карман, я отправился на реку. Плеск воды всегда успокаивал мои нервы и помогал сосредоточиться. Рядом паслись коровы, и пастух дядя Вася остерегал их от разброда кнутом и матерными словами.

Я знал, что о бабе Васе ходили по селу недобрые слухи. В церковь она не ездила, и я слышал, что когда-то ее здорово поколотили соседские

женщины за то, что она вступила в спор с попом о каких-то тонкостях религии. Ее в селе называли ведьмой, но, когда хвори сильно прижимали односельчан, они приходили к ней за настоями из лечебных трав. Чем жила баба Васса? — одной ей известно. Огород был давно запущен, и лишь мизерная пенсия давала возможность для скудного существования. Зимой, чтобы не замерзнуть, дрова она воровала у магазина. Об этом все знали, но никто не попрекал, так как это — жизненно необходимо. Баба Васса была самой старой в колхозе. Никто не знал, сколько ей лет, но в том, что больше ста, — не сомневались. И еще надо сказать, что баба Васса пила.

По субботам она выходила на лавочку во дворе и, улыбаясь, смотрела на прохожих. Это был ее знак: не выйду в субботу во двор — значит, умерла.

Я не сомневался, что если кто и откроет мне тайну заброшенного погоста, то только она, баба Васса.

Вечером Иван пошел в березовую рощу. Там собирались на гулянье молодые. Парни стояли у старой сломленной ветром березы, о чем-то горячо спорили и изредка поглядывали в сторону девок. Девки сидели на лавке, кивали на парней, неостроумно шутили и хихикали.

Иван знал, что парней ему не обойти. Не положено.

— Здорóво, что ли! — приветствовал их Иван.

Девки наперебой что-то зашебетали в его адрес.

— Кто таков? — спросил Ивана широкоплечий парень.

— У попа работаю. Я из Овíнищей.

— Девоч пришел шупать?

— Да, чешется.

— Ишь каков! — широкоплечий оглядел Ивана с ног до головы. — Хошь девочек чесать — ставь четверть. Иначе побьем.

— Завтра поп заплотит — будет четверть, — Иван показал жестом — “всё в порядке”.

— А каво выбрать-то хошь? — спросил низкорослый кудрявый парень.

— Вон ту, — Иван показал на Марью, — посередке.

Парни переглянулись.

— Ишь куда хватил! — широкоплечий подошел к Ивану. — Эта девка не продается. Вразумел? Невеста она.

— Ты, что ль, жених-то?

— Жених в городе. А мы пока ее сторожим. Не трожь ее. Убью.

— Четверть — за мной, — сказал Иван и пошел к девкам.

Девки замолчали и, сдерживая смех, смотрели на подходящего к ним Ивана.

Он им положительно нравился.

— Здорóво, бабóньки!

— Здорóво, дедóнька!

— Бог в помощь. А где Он не поможет, там я постараюсь.

— “Постарайся”! — захихикала дородная баба. — Семечки, что ли, лузгать?

— Не только.

Марья, чуть склонив голову набок, не моргая, смотрела на Ивана. Впервые она увидела его на реке, издали, и поняла, что с ней что-то произошло — что-то новое, непонятное, ноющее. По ночам Марья пыталась восстановить в памяти черты его лица, но ей это не удавалось. Теперь она с интересом рассматривала каждую мелочь, каждую морщинку на его загорелой коже.

Иван поймал взгляд Марьи. Она смутилась и суетливо перекинула косу из-за спины на грудь.

— Выбирай, — не унималась дородная баба. — Скажем — меня. Смотри, какая закуска! — она ударила себя по ляжкам. — Будешь кататься, как сыр в масле!

— Как червь в проруби, — усмехнулся Иван и сказал Марье: — Отойдем в сторонку. Мне надо сказать тебе пару слов. Наедине.

Девки как-то сразу стали серьезными. Парни издали наблюдали за этой сценой, недобро наблюдали.

Марья встала и пошла за Иваном. Как было не пойти? Как потом жить после этого? — жить и жалеть, что пропустила что-то нужное и желанное. Главное.

— Во дура! — сказала одна из девоч, когда Марья отошла.

— Че будет, девки! Че будет-то!

... Иван взял Марью за плечи. Она отпихнулась:

— Пусти!

— Ни за что! — Иван прижал Марью к березе. — Околдовала ты меня... Осинка... — он горячо дышал ей в лицо. — Стебелек молочный... Сок березовый...

— Я закричу.

— Не закричишь... — Иван целовал ее шею, щеки, губы, глаза, шею, щеки...

Крепкая, тяжелая ладонь легла на плечо Ивана и оторвала его от Марьи. Он почувствовал тупой металлический удар, и багровая звезда ослепила его. “Шестиконечная, — успел отметить Иван. — Церковная”.

Когда в глазах просветлело, он понял, что лежит на земле. Над ним стоял широкоплечий, его ноздри раздувались, и желваки не находили места. В стороне, зажав себе рот кулачком, стояла Марья и наблюдала за происходящим.

— Вставай, — приказал широкоплечий.

Иван встал.

— Пошли.

Иван пошагал за широкоплечим. За ним пошли остальные парни.

У реки широкоплечий остановился, развернулся к Ивану:

— Ну, возгря, я вижу, ты слов не вразумишь! А я тебя предупреждал, — и взмахнул рукой.

“Таким кулаком только березы косить!” — подумал Иван. Ему удалось увернуться от смертоносной пятерни. Сам не ожидая от себя такой подлости, он ударил широкоплечего ногой в пах. Это было не по правилам. Хлюпая губами, словно рыба, широкоплечий сел.

— Во мотыл! Дымье тронул, — сказал кто-то из парней. Они пошли на Ивана.

— А-а, уметы, не нравится?! — злорадовал Иван. Недобрый азарт овладел им. Он пошел на парней...

— Здравствуй, баба Васс. — я открыл дверь в ее комнату. — Можно?

В комнате, кроме мусора, огромного сундука, стола и икон в углу, ничего не было. Окна были “застеклены” старой одеждой, а на полу не хватало одной половицы.

Баба Васса сидела за столом перед початой литровой бутылкой какой-то жидкости.

— Входи... Выпей... — отозвалась она.

— Нет, спасибо. Я это уже пил.

— Ну как тебе наша Марья? — хитро взглянув, спросила старуха.

— Баба Васс, — начал я после паузы, — это твой самогон с наркотиками вызывает видения этой Марьи?

Баба Васса простуженно засмеялась:

— Нет, милоч. В моей настойке наркотиков нет. Обыкновенный калган: самогон, тополиные почки да еще кой-че безобидное. Я только на нем и держусь — пьянством смерть пугаю. — Выдвинув из-под стола деревянный ящик, она снова предложила: — Сядь, выпей.

— Баба Васс, — выпив, спросил я, — кто эта Марья?

Старуха, помолчав, встала, вышла из комнаты и вернулась с пожелтевшим от времени листом бумаги. Вырван он был из какой-то старинной книги. Баба Васса развернула его передо мной...

В висках моих заколотило, дыхание сперло.

На листе был изображен совершенно такой же портрет, как и нарисованный мною три года назад. Придя в себя, я развернул рядом свое творение.

— Одинаковые, — только и удалось выдать.

Баба Васса лукаво улыбнулась:

— Значит, ты тоже влюбился в нашу Марью.

— Скажи мне, — взмолился я, — кто она?

Старуха выпила еще стаканчик и начала свой рассказ:

— Впервой услышала я о Марье от своего деда.

На краю нашего села, там, где ныне пруд, давным-давно стояла изба. Хозяина ее звали Федором, а была у него дочь по имени Марья. Жили-то они бедно. Федор пил и раньше положено свел жену в сыру землю. Марья, однако ж, вошла в возраст и раскрылась красавицей. Да ты сам видал. И влюбился в нее дед мой, Яков. А слыл он лучшим парнем на селе, все мог: и два мешка муки от мель-

ницы до амбара донести, и супротив стремнины в половодье выплыть. Вот тогда-то и нарисовал он на одном из листов молитвенника сей портрет...

Луна светила — вроде как одурела. Где-то в траве, не переставая, фальшивил сверчок.

По сельской дороге от вдовы возвращался домой конюх Степан. От излишка хмельного его тело никак не могло принять положение, перпендикулярное поверхности земли. Он периодически останавливался и, грозя пальцем, доказывал невидимому собеседнику:

— Я баб шибче всякой кобылы люблю!

Рядом проснулась собака и собралась Степана обляять, но, подумав, решила этого не делать. Она только отметила, что петляет он, как заяц. Это была опытная собака, она даже зайца видала.

... Иван лежал на траве. Почувствовав на лице холод, он с трудом приоткрыл заплывшие глаза. В безоблачном небе висели звезды, из которых одну Иван отметил сразу: это — его звезда, она наконец-то зажглась.

Марья влажной ветошью вытирала его лицо от крови. Она уже не плакала. Ее слезы похоронили себя в ночной траве.

— Уже стемнело, — утвердительно сказал Иван и поспешно сел. Но в тот же миг резкая боль сковала тело.

— У-у-у, — сквозь зубы простонал он.

— Тебе очень больно?

Марья смотрела на него с таким сочувствием, что Иван невольно отвернулся. Такой же взгляд, полный боли, он видел раз в жизни. Еще в отрочестве из-за какой-то мелочи он ударил соседскую девчонку. Нет, она не убежала, не закричала. Она стояла и, сдерживая слезы, смотрела на него. Но слезы против ее воли выступали наружу и катились вниз. Она стояла и смотрела ему в глаза. Даже не в глаза — глубже — в самую душу, как бы говоря: “За что?.. За что ты меня?..” Иван тогда не выдержал и бросился бежать. И уже за баней, упав на траву, он долго плакал. Он плакал, прижимая сердце к матушке-земле, чтобы она взяла у него эту нестерпимую боль...

Вот и сейчас во взгляде Марьи он увидел то же самое.

— Ты почему осталась?

— Я боялась, что с тобой...

— Будя!

Иван осторожно встал на ноги и пошел к реке смыть кровь.

С поверхности воды поднимался пар. Полная холодная луна купалась в реке и отражалась на небе. Умывшись, Иван посмотрел вверх, где над обрывом ждала его Марья. Неведомо откуда взявшийся ветерок натянул полы ее сарафана, и при этом отчетливо стала видна вся красота округлостей тела. Он поднялся и подошел к Марье.

— Все еще болит?

— Марья! — неизвестное до этого желание и вместе с тем робость двигали им. — Иди ко мне, — он нежно обнял ее за талию. — Милая! — и посмотрел ей в глаза.

Марья не сопротивлялась, но лицо ее выражало испуг. Девичий страх перед чем-то новым и неведомым брал верх:

— Н-н-не-е... Не надо... Пойду до дому...

Мужские ладони безвольно стекли вниз и как-то нелепо повисли на ослабленных руках.

— Марья, я очень боюсь тебя обидеть... потерять... Что я говорю?! Я боюсь спугнуть тебя, как... как младенческий сон... Я...

Марья направилась в сторону своего дома.

“Господи! — подумал Иван. — Что же это происходит?!”

Он вдруг осознал, что окровавленная косоворотка порвана почти до пупа, а его заплывшее лицо крайне уродливо. Но тем не менее Иван взял в руки медный нательный крестик и поцеловал его: “Помоги, Господи!”

— Марья!..

Марья остановилась, но не обернулась.

— Марья, — Иван догнал ее, — останься хоть ненадолго... Ради Бога...

— ... Так и шло дело, — продолжала баба Васса. — Яков готовился к свадьбе, а осталось только урожай собрать. Да вот объявился в селе наемный молодой парень. Иваном величали его. Ложил он печи, также по столярному и плотницкому делу разумел. И никто не знает, как произошло, а полюбили Иван с Марьей друг дружка. И любовь эта была страстной да недолгой, подобно молнии Божией...

Я слушал эту историю, и, казалось, невидимые тени, пришедшие из давно минувших дней, окружали меня, гипнотизируя простотой и таинственностью одновременно.

— ... Отдалась Марья Ивану перед его уходом душой и телом. Однако ж он пообещал возвратиться, как только откупится от барина.

В селе, как понимаешь, тайну не утаишь, и Федор забил вожжами дочь до полусмерти, а опосля пригрозил, что убьет ее, если через месяц виновник бесчестия не объявится. И Федор, и дед мой, Царство ему Небесное, — перекрестилась, — запили беспробудно.

Иван в указанный срок не возвратился. Это только опосля узнали, что убили его тогда в пьяной драке у села Красный Яр, голову топором разрубили да тело в реку бросили. А Федор, как и обещал, через месяц взял косу да спящей Марье перерезал горло. Да и сам опосля энтова удавился.

Схоронили их по-христиански. Да вот стали вскоре замечать люди, что ходит по ночам Марья с перерезанным горлом да кличет своего Ивана. Пришли мужики на кладбище, а могила разрыта. Марья освободилась от савана да лежит с открытыми глазами. Перепугались они, проклинали кладбище. С тех пор на нем более никого не хоронили.

Опосля и все священники оставили церкву, что рядом.

Но Марья появлялась все в новых и новых деревнях. Справиться с нею не могли — и че только ни делали: и закапывали могилу, и камень на нее ложили — без толку, на следующий день могила была разрыта.

Церква да кладбище энти стояли на холме — там, где ныне поле. Вкруг холма энтова болота были. И когда, уже при колхозах, ломали энту церкву, решили и холм разровнять, чтоб, значит, болота осушить. Поприехали откуда-то работники да лопатами и телегами разровняли холм.

С тех пор Марья перестала беспокоить людей. Да вот раз в десять лет кой-то да увидит ночью на поле холм да церкву, будто из земли они вырастают.

А семь лет назад со старухой теткой Олей покойницей, что жила на отшибе (помню, ее утроба держала — видать, червь грыз), случилась вот какая штука. Спала она ночью, как вдруг постучали в оконце к ней. Полная луна светила на небе, и разглядела тетка Оля на улице молодуху. Удивилась, но оконце отворила. Смотрит: молодуха красивая, в сарафане старинном. Да вот только собаки чей-то во всем селе лаять перестали да попрятались по будкам своим. “Че тебе?” — спросила старуха, а молодуха в ответ: “Вань, Ваня, где ты?” И только тут старуха разглядела то, чего по старости лет не увидела сразу, — горло-то у девицы перерезано! Че опосля было — тетка Оля не помнила. Упала она в сердцах, а утром обнаружила только помятую крапиву под оконцем...

Я слушал бабу Вассу, и у меня стыли зубы. Закончила она свой рассказ выводом, что погост и церковь по ночам воскресают, а Марья не успокоилась в своих поисках, но встает только в полнолуние.

Прощаясь со мной, старуха хитро улыбнулась и как бы невзначай сказала:

— Милок, полнолуние через три дня.

“... через три дня”, — звенело в моей голове, когда я возвращался.

Щука охотится даже ночью. Это видно по разводам, которые то здесь, то там появлялись на поверхности воды.

— Вань, ты веришь в леших?

Иван засмеялся:

— А ты?

— Знамо, верю... Да ну, не смейся ты! Коных Степан сам рассказывал, как он ночью возвращался через касеть, а они на него напали.

— И?

— Он еле ноги унес!

Марья и Иван сидели на пнях у грибоварни. Вселенная с холодным спокойствием смотрела на них и лишь изредка роняла звезды.

— Вань, а в оживших покойников ты веришь?

— Не-а.

— Недалече от нас, в Топорищеве, мальчик-пастух утонул. Люди говорят, что в полнолуние он выходит из реки да бродит вдоль берега. Многие видали уже...

На лице Ивана появилась тревога. Он схватил руку Марьи и прошептал, показывая на противоположный берег:

— Смотри! Вон твой пастушонок... Выходит.

Марья судорожно ахнула.

— Испугалась? — засмеялся Иван. — Я пошутил.

— Ну ты! Я испугалась — чуть юрдовикой не стала. Пойду до дому, — обиделась она.

И пошла.

— Марья, коли ты уйдешь, я утоплюсь!

Иван давно приметил невдалеке от берега кувшинку и хотел за ней сплавать.

— Слышь? Я прыгаю.

Не раздеваясь, — все равно одежду надо было отстирывать от крови, — он нырнул. За день вода нагрелась и еще не успела остыть. Иван бесшумно под водой добрался до кувшинки, сорвал ее и так же бесшумно доплыл до берега. Он вынырнул под ветвями ивы, которая склонилась к самой воде. Поэтому его не было видно с берега.

Марья была уже у реки и неуверенно звала:

— Вань... Ваня...

Ее беспокойство нарастало. В панике она начала метаться по берегу:

— Ванечка!.. Миленький!.. Не тони!..

Видимо, сердце подпрыгнуло к ее горлу, и приглушенный, захлебывающийся хрип вылетел в пространство:

— Гос-по-ди-и! Че ж ты наделал?! Как же мне жить вслед?! — Марья упала на колени.

Шутка затянулась. Иван это понял и быстро вышел на берег. Когда он подбежал к Марье, она уже лежала ничком и беззвучно рыдала.

Иван склонился над ней.

— Марья, я рядом, я не утонул.

Марья не реагировала.

Он взял ее на руки и отнес к грибоварне.

— Марья, очнись! Слышь, я не утонул.

Ее взгляд был отрешенным.

— Марья, прости меня, прости меня, — Иван часто и неразборчиво целовал ее в лицо, — прости меня...

— Зачем ты так сделал? — услышал он у самого уха.

“Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою”, — вспомнил Иван библейскую притчу, часто повторяемую его отцом. И еще: “Храни себя от зла, и не постыдишься за душу твою”.

— Зачем ты так сделал? — повторила Марья.

— Марья... — ком в горле мешал говорить. Голос оказался сдавленным и неожиданно высоким.

Иван прокашлялся.

— Марья. Я не хотел... Я не думал... — Найти нужные слова было нелегко. — Прости, прости меня, пожалуйста. Прости...

В селе прокричал первый петух. На поверхности воды бился ночной мотылек, вскоре ставший добычей голавля. Время шло своим чередом и не замечало двоих, которых в эту ночь избрала Судьба.

— Вань, ты весь мокрый. Захворает.

— Пустяки. Надо только выжать одежду. — Иван заметно стучал зубами. — Пойдем в заброшенный сарай? В нем кто-то сушит сено. Там тепло.

— Пойдем, — просто согласилась Марья.

Она шла впереди, держа в руке подаренную ей кувшинку. Следом шел Иван и о чем-то напряженно думал.

— Марья.

— Че?

— Тебя кто-нибудь обманывал?

— Нет... А зачем?

— Зачем? — переспросил Иван. Этот вопрос сбил его с толку. — Ну, не знаю... — Как-то нерешительно, опустив голову, он подошел к Марье. — Ты не обиделась, что я вечером насильно целовал тебя?

Марья пожала плечами:

— Я видала, как моих подружек целовали. Они, кажись, не обижались...

— А тебя до сего никто не целовал?

— Нет.

— А жених твой?.. Как его?.. Яков?

— Нет.

— Ты его любишь?

— Я?.. Не знаю. Тятя хотит, чтоб мы обвенчались.

— А ты хошь?

— Не знаю.

— А я знаю. Знаю, что как только увидал тебя, сразу же... — Иван замолчал.

Марья глядела на него, и глаза ее молили: “Продолжай, продолжай”.

— Марья, коли щас пропоет петух, ты будешь моей женой.

Петух пропел...

... Стояла безветренная ночь, и полная луна паялилась на землю. Я вышел к погосту и сразу же увидел парня, стоявшего у церкви. Почему-то в тот же миг понял я, что это Иван, — видимо, из-за крови, которая залила все его лицо.

Было как-то особенно душно, хотя и пахло сыростью. Парень поманил меня рукой, и я, огибая могильные холмики, пошagal к нему. Но он вдруг повернулся и пошел прочь, не подавая вида, что меня звал.

Я бросился за ним, как вдруг кто-то окликнул меня, и за спиной послышались неторопливые шаги. Но, обернувшись, никого не увидел я.

— Федор! — не было сомнений, что это он, — где ты?

Тишина. Только стая огромных крыс пробежала у ног моих. Вскоре снова меня окликнули, и пьяный хохот раздался невдалеке.

Бешенство овладело мной, и я бросился на звук, но не заметил, что на пути моем находилась разрытая могила Марьи. Споткнувшись, полетел я вниз и... проснулся.

Я перевел дыхание. Уже несколько ночей доносили меня кошмары, отличавшиеся яркостью и чрезвычайным сходством с действительностью.

Минули три дня после разговора с бабой Вассой.

С самого утра одолевала меня тревога; и предчувствие, что со мной произойдет что-то в этот день, точнее ночь, не давало покоя.

По скрипящему полу я вышел на мост, выпил воды. Самочувствие было прескверное, что-то угнетало меня. Положительно ничего не хотелось делать, в том числе и бездельничать.

Я открыл холодильник и извлек запотевшую бутылку водки. Конечно, с самого утра — и к рюмке — дело непристойное, но я тем не менее выпил, даже не закусывая.

В желудке приятно потеплело. А между тем день разгорался, солнце поднималось. Я выпил еще и отправился на реку.

На берегу, поджав босые грязные ноги, сидел мужик и ловил рыбу. В селе его звали Мишей Тарзаном. Почему именно Тарзаном? — не знаю. Было ему около пятидесяти. Домашним хозяйством он не занимался, как, впрочем, и его жена. Днем они ловили рыбу, а вечером пили горькую, на следующий день утром пили горькую, а днем ловили рыбу. Видимо, однообразие труда и избыток фосфора и спирта вызывали у них желание вернуться в лоно первозданной природы, где обитали их далекие предки и где называться Тарзаном было бы даже почетно...

— Здравóво, Миш, — я подсел рядом.

— Здрав.

— Клюет?

— Плохо... Слыхал, Сашка Смирнов щуку на пятнадцать кгэ поймал?

— Ну!

— Сеткой.

Рядом, гудя довольно басовито, пролетел жук.

— Смотри! — сказал я шепотом, показывая на поплавок. — Миш, у тебя клюет.

— Вижу.

— Подсекай!.. Пора уже!.. Упустишь!..

Миша подсек, но было поздно — хитрая рыбешка успела сожрать наживку и безнаказанно уплыть.

Непокрытую голову напекало, и я собрался уходить.

— Ладно, Миш, пойду я.

— Андрей... — он смотрел на меня глазами побитого пса. — Опохмели. Помираю...

(Через год Мишу Тарзана найдут холодного около реки. На его мертвом лице будет выражено недоумение от факта собственной кончины. Мишина жена после его похорон пролежит три дня без движения в своей постели, а на четвертый — отдаст кому-то душу.)

... Уборка ржи закончилась, и председатель разрешил продажу спиртного. У магазина прямо на земле сидели пьяные мужики и гоготали, развлекал их Юра Суслов. Когда мы с Мишей подошли, он цитировал из "Повести временных лет":

— "... и виде ту люди сущая, како есть обычай им, и како ся мыют и хвощутся..."

— Как-как?! — ржали мужики.

— "... И облекутся квасом усняном, и возмут на ся прутье младое, и бьют ся сами, и того ся добьют, едва слезут ле живи..."

Один из мужиков никак не мог унять смех — просто захлебывался. Наконец ему удалось выдать давно просившуюся фразу:

— Тебя, Юр, послушаешь — будто литр браги оттянешь!

Раззадоренный, Юра вскочил на ноги и, приплясывая козлом, заорал:

Хорошо, что есть на свете

сила — сила трения!

Без нее бы не было

семяизвержения-а-а...

(Жизнь Юры Суслова была покрыта тайной, впрочем, как и его гибель, настигшая его через четыре года. Ходили слухи, что его сослали в этот забытый Богом уголок за разврат — без права проживания в каких бы то ни было городах. Поговаривали также, что в прошлом он был военным летчиком, офицером. По обыкновению пьяный, он, притворяясь спящим, сидел на крыльце магазина и исподтишка хватал проходящих рядом женщин за причинное место. Мужики часто били его за эти проделки, но это не давало ровно никаких результатов... В 1989 году Юра пропадет. Обнаружат его только через шесть дней. Он всплывет несколькими километрами ниже по течению.)

... Возвращался я вместе с Юрой, нам было по пути.

— Когда я в Японии был, — рассказывал он, — так на японок насмотрелся — чуть пупок не развязался! У них глаза узкие, а между ног — еще уже. И расположено у них так не *так*, — поднял ладонь вертикально, — а *так*, — ладонь — горизонтально.

Я слушал Юру и смеялся для приличия. От него воняло мочой и махоркой. Мы приближались к его избушке. В селе она выделялась экзотичностью: на ее крыше выросло дерево неизвестного названия.

Когда мы к ней подошли, Юра сказал:

— Знаешь, плевать в пепельницу — все равно что мочиться против ветра — вся морда в пепле будет. — И не сделав паузы, спросил: — У тебя есть еще что-нибудь выпить? А то настроение — как у вихухоли... — Он повернул ко мне свое лицо, лицо алкогольного вырождения.

— Нету, — соврал я, у меня загорелось желание пойти к Зойке...

Прошла неделя, как Иван ушел из села. Марья сидела в комнате и вышивала на сарафане замысловатый узор, но мысли ее были далеко. Она вспоминала ночь, которую провела вместе с Иваном и которую она уже никогда не забудет, потому что эта ночь — первая.

... Наутро, когда Марья вернулась домой, Федор избил ее вожжами — нарочито и нещадно.

— С кем была всю ночь?! Отвечай, малакиица!

Марья молчала: боялась, что отец в хмельном бреду убьет Ивана. Призналась она уже после того, как Иван ушел из села.

Прощались они у моста.

— Ниче, — говорил Иван, — я скоро вернусь. Поп дал уйму денег — значит, барин дарует мне *вольную*. Я вернусь и сыграем свадьбу. Всё по уставу... Да какой же мужик не отдаст дочь свою за вольного?! Не крепостной же ж какой! Чрез две-три седмицы приду свататься. Так и знай! — Он обнял Марью и поцеловал в губы. — Коли я когда обижу тебя словом или деянием — пусть тут же умру и душа огнем осолится!..

Но Марья помнила и другое. Когда она рассказала отцу об Иване, Федор взбеленился:

— Кто ж тебя ноне в жены-то возьмет?! Никто! Ни за какие сухари. А тута и так голодом сидим, тряпицу жуем да корения копаем... А у тебя и глаза не опухли. Хоть бы втайне поплакала да в пол поубивалась... — И после паузы добавил: — Ежели чрез четыре недели сей михирь не явится, погублю тебя насмерть!

Зойка встретила меня с неподдельным восторгом:

— Андрей! А я уж думала, ты не придешь, не навестишь. Ну разувайся, проходи.

Смущаясь, я снял кирзовые сапоги и несвежие портянки.

— Че ж ты, негодник, забыл меня, что ли? — укоряла она, накрывая на стол. — К Захару-то сходил, а ко мне — и нос не кажешь.

Я был уже достаточно пьяный, поэтому меня потянуло на сентиментальность.

— Зоенька! — говорил я, подняв рюмку с водкой. — Милая моя, я хочу выпить за тебя!

Выпил.

— Зоенька!..

— Закусывай.

— Зоенька, ты думаешь, я пьян? Вздор!.. То есть... я пьян, конечно, но не в этом дело. Это не от водки, поверь, я пьян от счастья... Ты только не смейся...

Потом я говорил еще: о чистом воздухе, о лесе за рекой, о березе на утесе, об однорогой корове...

Зойка сидела, слушала, с трудом сдерживая улыбку.

— Я счастлив, хотя недостойн счастья такого, в высшей степени недостойн. А мне плевать с пожарной каланчи!.. Ясно?.. Я внятно выражаю мысли?

— Внятно. Ты закусывай.

— Я дружбу мужскую выше всего ставлю в этой жизни. Ведь у Захара в груди не кровеносные сосуды, а голубка неокольцованная. Любит он тебя, с самого детства любит, а ты на него — ноль внимания! Ты только люби его, а я тебя за это щас поцелую. Правильно?

Зойка от моего поцелуя уклонилась.

— ... Я понимаю, тебе, может, до лампочки его чувства... Извини, я стыжусь своей болтовни. Но послушай, как поет сверчок!! И разве можно не любить Захара, когда он такой... такой искренний?!

И в этот момент (почему именно в этот? — неизвестно; но как-то сразу стало ясно до предела) я неожиданно понял, что сегодня ночью, в полнолуние, мне необходимо быть на заброшенном кладбище.

— Понимаешь, Андрей, — начала Зойка, — я очень хорошо отношусь к Захару, но это... не любовь...

Я как-то сразу вылился весь, опустел и сидел совсем угнетенный и измученный. Вроде зараз разменял я свою душу на гнутые пятаки. Мне нужна была зарядка, нужен был заброшенный погост.

— Извини, Зой, я пойду. Пора.

... Я шел по полю и уже совсем по-другому смотрел на цветы иван-да-марья. Вот — нашла Марья своего Ивана, и расцвели два цветка, красный и синий.

Солнце клонилось к западу, и окружающая красота очаровывала. Усевшись на траве как раз на том месте, где, по моим расчетам, век назад находилась церковь, я залюбовался природой и сам не заметил, как уснул...

Проснулся я от какого-то шума, поднял голову и... чуть не захлебнулся от неожиданности белым туманом. Лежал я в метре от разрытой могилы..

Шум повторился. Он исходил из могильной ямы.

Вдруг белые от тумана пальцы убиенной легли по краям могилы. Марья поднимала тело. Голова ее под своей тяжестью и под тяжестью волос была запрокинута назад. Ужасно при этом зияла рана на шее!

Я бросился бежать прочь, но споткнулся и упал лицом в землю...

Очнулся я от того, что на мои плечи легли чьи-то руки. Перевернувшись на спину, я увидел лицо Марьи.

— Ваня... Ваня... — шептали ее губы, и при этом вздрагивала перерезанная аорта.

— Ваня... вставай, — шептали ее губы, и при этом падали из глаз ее теплые слезы.

— Я не Иван... Ивана убили... Он тебя не обманул... Он в реке... В реке... — бормотал я, погружаясь в забытие. — Я не Иван... Ты не ищи его... — бредил я, находясь уже по ту сторону сознания.

Есть трава на земле, именем иван-да-марья. Та трава всем травам царь...

Мятая медная кружка с брагой стояла на столе. За столом сидел Яков и мерно раскачивался. Он тупо глядел на кружку и мычал: “Ма-а-а-арья... Ма-а-а-арья...”

Вчера он вернулся из города и узнал, что Марья ему не принадлежит. Уже не принадлежит.

Ах, как он напился! Бегал с топором по селу в поисках обидчика, а того уже и след простыл.

Беги-беги, да не зашиби ноги!

Кап-кап-кап, — падали капли в сливной таз — подтекал рукомойник.

Навалилось вдруг горе большое и нещадное, и не хватает сил поднять его, из-под него выбраться.

“Она уже никогда не будет моею”, — непроговариемо языком это было. Слишком ужасно, чтобы быть правдой. Но всё же...

Яков выпил брагу, снова наполнил кружку.

Казалось, он любил Марью с самого ее рождения. Она росла на его глазах. Яков отмечал, что Марья с каждым годом становилась все красивее и красивее, и он ждал, когда она войдет в лета, чтобы сыграть свадьбу.

Этой весной они вместе гуляли у реки, и Яков мечтал, что, когда луг высохнет и согреется, они вдвоем будут бегать по нему босиком. Марья что-то рассказывала своим ручьистым голоском, а он, Яков, хотел только одного — узнать туготу ее губ...

“Зачем?! — думал Яков. — Зачем я отправился в город? Был бы я в селе — уберег бы ее”.

Кап-кап, — что-то капало.

“Эх, Марья! Насмерть ранила...”

Еще в городе приснился Якову сон: идет он по полю, а конца и края ему нет. И слышит он мужской смех, издаваемый и наглый. Вроде как над ним смеются. Оглядывается он, оглядывается, а понять не может, откуда смех доносится. Посмотрел вверх и видит: скачет по небесам Юнона — кобыла, околешшая несколько лет назад. Язык у нее, как у борзой, набок вывалился — синий такой, мерзкий; а зубов нет, ни единого зуба. И сидит на кобыле верхом Марья, а с нее кровь капает красными ягодами. Кричит он, зовет Марью, а у той глаза — как у утопленницы — неживые. И смех откуда-то, наглый мужской смех...

Яков выпил еще.

Рядом с кружкой на столе находились очиненное воронье перо и разведенная в чашке сажа. Еще утром неграмотному мужику, который никогда не держал в руке пера, — Якову захотелось нарисовать портрет Марьи.

Он подошел к божнице и взял с нее большую, переплетенную кожей книгу. Это была мина.

Расстегнув замочки и пролистав книгу, Яков вырвал из нее лист, который с одной стороны был чистым.

“Эх, Марья, Марья”, — прошептал он. Его терзала необъяснимая смесь чувств к ней: близости и недоступности, притяжения и отталкивания, обладания и утраты. Казалось, все это поселилось в нем и каленым излучением жгло грудь, выжигая всякие другие чувства.

Яков сел за стол, окунул перо в черную массу и первый раз в жизни принялся рисовать... Марью.

Есть трава на земле именем иван-да-марья Та трава всем травам царь Кто рассудком рушится тот пусть носит ее при себе

И дождались Иван да Марья свадьбы своей Сказал Господь

“Дабак иш б’иштó в’хаю льбасár эхád”*

И сходит Иван с лошади а поезжане выводят Марью из саней и восходят на паперть а там уж дорожки до алтаря расстелены Это еще не галёрка мы бываем счастливыми и парим в облаках но небо уходит а мы остаемся И стоят Иван да Марья в церкви на дорожках — на зенденях да на киндяках Выходит же к ним священник в епитрахиле и фелони да со скуфьею на главе Вот же объявился в селе наемный парень и никто не знает как произошло а полюбили Иван да Марья друг дружка любовь же эта была страстной подобно молнии Божией И трижды обручаются Иван да Марья колечками серебряными и обводятся кругом святых мы же остаемся пришипленные к земле в качестве дополнения к гербарии а хочется чтобы наоборот мы ушли а небо осталось Чем это воняет? нашатырем что ли? И венцы возлагаются на Ивана да на Марью и общая чаша с терпким виноградом подается им Вань а в оживших покойников ты веришь? А на свадьбе за столом скатерть и судки, калачик, перепечка на блюде, каравай да сыр Щасливая ты Марька такóва парня приворожила У меня же душа гниет от прокаженной любви к неосуществимому освободите мою больную неутомимость душно моей душе душно выпустите ее на лужок подышать кислородом Боже как воняет нашатырем Федор же говорит

“Судьбами Божиими дочь моя приняла венец с тобою Иван Прокопеич и тебе бы пожаловать ее любить законным браком яко жили отцы и отцове отце наших”

И Иван в ответ целует Федора в плечо Нашатырем воняет особенно здесь фук-фук перед фук-фук носом И идут Иван да Марья в подклеть и промышляют там делом своим от чего дети родятся Главный грех матерей в том что они обрекают своих детей на жизнь!..

— Ну вот, приходит в себя, — женский голос откуда-то.

* דָּבַק אִישׁ בְּאִשְׁתּוֹ וְהָיוּ לְבָשָׁר אֶחָד — Прилепился мужчина к жене своей, и стали одна плоть (евр.).

Очертания постепенно сфокусировались, и мир приобрел определенность. Лежал я в сельском медпункте. Рядом со мной стояли фельдшер Светлана Николаевна и моя бабушка. Солнце возвышалось над горизонтом.

— Ну че? — упрекала бабушка. — Говорила ведь тебе: не пей отраву Вассы. Нос расквашен, батюшки мои!.. Если бы не пастух Вася, лежать бы тебе и по сию пору в чистом поле!

Вернувшись в избу, я долго рассматривал свой распухший нос. Тоже мне, любитель острых ощущений! — думал я перед зеркалом. — Что, кладбищенский паломник, любишь себя? И что ты в себе нашел-то? Может, что-то и было, да ты где-то оставил...

В окошко постучали. Открыв ставни, я увидел бабу Вассу.

— Че, милоч? — улыбалась она. — Видать, шишко напугала тебя Марья!..

Затем лицо бабы Вассы стало серьезным, почти мертвым.

— И запомни, — сказала она мне на прощание, — через два столетия после смерти Марьи сбудутся над нею пророчества — обретет Марья свободу. Но какую? — кабы знать... Одно из двух: либо душа ее возлетит на небеса, и Марья успокоится; либо могла отпустит ее, и будет Марья до второй смерти искать Ивана... Вот... — вздохнула баба Васса и пошала в сторону своей избушки.

Такой она и осталась в моей памяти. Горбатая старуха, опираясь на клюку, шла к своему столу омолодиться калганом. Горбатая старуха, брошенная и близкими, и родными, она доживала свои дни в алкогольном дурмане. Мудрая, но никем не понятая...

“Через два столетия после смерти Марьи...” — повторял я слова бабы Вассы. Так это же в девяностом, через пять лет...

*Не бывать плешатому кудрявому,
Не бывать гулящему богатому,
Не отростить дерева суховерхого,
Не откормить коня сухопарого,
Не утешить дитя без матери
Не скроить атласу без мастера.
А и горе, горе, гореванье!
А и лыком горе подпоясало,
Мочалами ноги изопутаны!..*

В кружале было темно и душно, пахло по́том и блевотиной. Сальная лампа то и дело угасала.

— Эй! — закричал бородатый мужик целовальнику. — Еще вина.

Бородатому, должно быть, было около сорока. Впрочем, относительно возраста лицо его выражало полную противоречивость. Оно, несмотря на крупные морщины, имело печать невинности, какую придают сказочники своим блаженным мудрецам.

Рядом с бородатым сидели еще двое.

— ... Окружили, знычит, солдаты нас, — продолжал прерванную историю бородатый. — Куды бечь? Сплошь болота. Однако я убёг, а Пахома вот словили. Порвали ему ноздри и — на каторгу. А мне только правое стогно прострелили, пред грозой ноет...

И здесь в кружало вошел Иван.

— Бог в помощь, — поприветствовал он присутствующих.

Трое за столом переглянулись.

— Кто таков будешь-то? — спросил бородатый.

— Иваном величают.

— Я тя не о окрестном имени спрашиваю. Откуда идешь и куды?

— Я из Овинищей, а иду свататься.

— Ишь ты!.. Ну иди к нам, веселье будет.

Целовальник как раз принес вина.

— Ну давай знакомиться, али как, — предложил бородатый, когда Иван подсел к ним. — Меня Архипом кличут. Это — Кузьма. А это, — указал он на самого молодого, — Ефим.

Иван сделал поклон головой.

— Ну давай, знычит, за встречу, али как! — Архип разлил зеленое вино по оловянным кубкам.

Выпили.

— Че ж тя, — пытался Архип, — к бабе-то потянуло?

От духоты и вина лоб Ивана покрылся крупными каплями пота.

— Я, братцы, *вольную* получил, — Иван извлек из котомки аккуратно сложенный лист бумаги. — Вот, читайте! — сказал он торжественно и развернул документ.

— Мы неграмотны.

Иван убрал листок на прежнее место и продолжал:

— А коли я уже не крепостной, так какого ж черта мне не жениться? Пора уж оседать. Женюсь, дом срублю, детишек наделаю.

— Ну детишек надеть — большого ума не треба!.. А она-то хоть красивая, али как?

— Не то слово! — мечтательно ответил Иван. — Про красоту ее языком не расскажешь. Видеть надо... Я тут и гостинец ей несу, — он полез рукой в котомку и представил на обозрение свой подарок. — Вот — ширинка. Золотой нитью узор делан!

— Хороша! — похвалил Архип.

Если бы Иван повнимательнее взгляделся в глаза собеседников, он бы перестал хвастаться. Но Иван потерял бдительность.

— А еще я подарю ей серебряную панагию. — На ладони у него уже лежало изображение Богородицы. — Как?

— Хороша.

— Да и денег у меня немало! Так что на первое время хватит.

— Давай, Иван, еще выпьем...

... А я от горя в темны леса —
А горе прежде век зашел;
А я от горя в почестный пир —
А горе зашел, впереди сидит;
А я от горя на царев кабак —
А горе встречает, уж пиво тащит.
Как я наг-то стал, насмеялся он.*

В середине 1990 года я женился. Но не прошло и месяца, как моя половина из хорошенькой невесты превратилась в повседневную неприятность, с которой мне по стечению обстоятельств приходилось делить квартиру и ложе.

Ее практичность бесила меня. Она прекрасно знала, что мебель надо подбирать под цвет обоев, но совершенно не умела вести себя в постели. По ее мнению, романы “Князь Серебряный”, “Война и мир” и “Петр Первый” написал один и тот же автор, но при этом она отлично разбиралась, какая одежда в моде и какую брошку прикалывают на ту или иную блузу.

Говорить с ней было не о чем. Если я заводил разговор о любви, она выводила резюме, что мой напарник свою жену любит сильнее, нежели я свою, так как “получает на тридцать рэ больше”. Если я рассуждал на философские темы о жизни и смерти, она утверждала, что соседи живут лучше нас, потому что купили машину и записались в кооператив на получение квартиры.

Из всех идеалов она выбрала материальные ценности. Все разговоры сводились к покупке той или иной тряпки или сервиза. Она требовала, чтобы я больше работал, а сама не умела даже приготовить нормальный ужин. А в гостях, если, конечно, в беседе не затрагивали интересующие ее темы о шмотках и разного рода безделушках, она скучала, и лицо ее выражало такую гримасу, будто ей хотелось чихнуть. Иногда мне казалось, что у нее не все в порядке с дикцией.

Вот и сейчас, когда я листал газету, она пролетала что-то невнятное. Однако, пропустив несколько раз через мозговые клетки ее бормотание, я понял, что она звала меня на базар, чтобы купить ей осенние сапоги на каких-то сверхмодных каблукках. Я хотел уже ответить, чтоб она шла одна, как вдруг мой взгляд уцепился за небольшую статью.

“Вчера в психиатрическую клинику города [...] из районного отделения милиции была доставлена странная девушка...” — прочитал я.

Моя жена снова повторила свое требование, и тут моему терпению пришел конец.

— Слушай, мырма! — взорвался я. — Иди на свой базар, скупи там все сапоги с каблукками и без, надень их себе на морду и сдохни от блаженства! Да! не забудь рядом табличку написать: “Жертва босячества”!

Она ушла, хлопнув дверью так, что между косяком и стеной образовалась убедительная щель.

Раздражение мое ослабевало и вскоре улеглось вовсе. Я даже пожалел, что не сдержался и вспы-

лил, но, как только вспомнил о недочитанной статье, вся сцена ссоры вылетела из моей головы. Я принялся за чтение:

Вчера в психиатрическую клинику города [...] из районного отделения милиции была доставлена странная девушка. Она ходила по городу в странном сарафане, рыдала и искала какого-то Ивана.

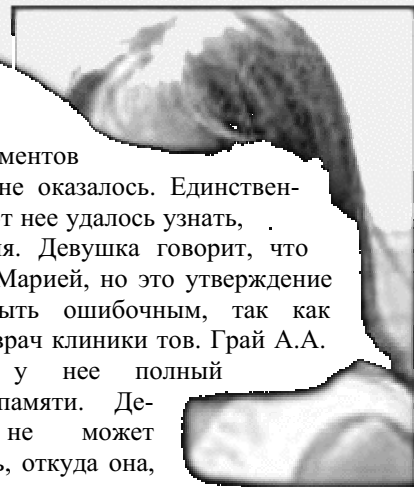
Вчера в психиатрическую клинику города [...] из районного отделения милиции была доставлена странная девушка. Она ходила по городу в странном сарафане, рыдала и искала какого-то Ивана.

Документов при ней не оказалось. Единственное, что от нее удалось узнать, — ее имя. Девушка говорит, что зовут ее Марией, но это утверждение может быть ошибочным, так как главный врач клиники тов. Грай А.А. признал у нее полный провал памяти. Девушка не может объяснить, откуда она, где ее семья, где учится или работает.

Всех, кому что-либо известно об этой девушке, просим обращаться по адресу:

Ее приметы. Возраст: 18 — 22 года. Рост: 161 см. Цвет волос: темно-русый.

Особые приметы. Свежий глубокий шрам на шее.



Документов при ней не оказалось. Единственное, что от нее удалось узнать, — ее имя. Девушка говорит, что зовут ее Марией, но это утверждение может быть ошибочным, так как главный врач клиники тов. Грай А.А. признал у нее полный провал памяти. Девушка не может объяснить, откуда она, где ее семья, где учится или работает.

Всех, кому что-либо известно об этой девушке, просим обращаться по адресу: [...].

Ее приметы. Возраст: 18 — 22 года. Рост: 161 см. Цвет волос: темно-русый.

Особые приметы. Свежий глубокий шрам на шее.

Ниже статьи был помещен ее портрет...

Да, это была Мария.

Бедная Мария, плакал я, тебе и в этой жизни не удастся найти Ивана. Свою вторую жизнь ты проведешь в сумасшедшем доме. Какие злые пророчества свершились над тобой! Нельзя, что ли, было отпустить твою многострадальную душу? Тогда бы нашла ты Ивана там, на том свете. А теперь?.. Кто

* Русская народная песня.

тебе поможет? Баба Васса год как умерла — не вышла в одну из суббот на свою лавочку во дворе. А мне... мне кто поверит, если я поведаю о твоей судьбе?! Меня тоже упрячут в психбольницу... Бедная Марья!..

Слезы падали и впитывались в газетную бумагу.

Пошатываясь, Иван вышел из кружала.

“Добрые люди!” — подумал он об оставленных собеседниках. — Напоили, а деньги взять отказались. Еще и отпускать не хотели”.

Кружало находилось у дорожного тракта, и в двух верстах от него — через лесок — было село Красный Яр. Туда-то и направился Иван.

Он шел и насвистывал какую-то веселую мелодию. Ароматные зеленые сосны окружали его.

Ни души.

“Марья-Марьюшка, заждалась небось, голубушка”, — прошептал он.

Солнце миновало зенит и направилось на запад. Пушистые облака походили своей формой на сказочных животных. Рядом с дорогой под старой сосной возвышался муравейник. Иван невольно задержался около него, наблюдая за мирной суетой муравьиного племени.

“Эх вы, неразумные, — улыбнулся он. — Суетитесь, суетитесь, а любви не знаете. Не дано вам”.

Иван вышел к мосту и посмотрел вверх. На холме стояла белокаменная красноярская церковь. Любуясь золотыми куполами, Иван не знал, что в двадцати шагах от него за деревьями затаились трое...

— На, — Архип вложил в руки Ефима топор. — Незаметно подкрадешься и ударишь по голове. Только не промахнись!

Зазвонили колокола.

Иван снял картуз и трижды перекрестился.

— Ну вот, — сказал Ефиму Архип. — Даже Бог нам помогает! Из-за звона он тебя не услышит.

Сжав в руках топор, Ефим медленно пошел к стоящему спиной Ивану...

“Красота какая! — глядя на купола, думал Иван. — Божия красота!”

Но вдруг церковь раскололась надвое, и багровый поток хлынул из расщелины, и залил кровавыми тонами грешную землю. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь...

Иван уже не мог видеть, как трое человек окружили его. Один — с окровавленными руками и благообразным лицом — стягивал котомку.

— Ширинку мы враз продадим. Добрая ширинка! — радовался он.

Бородатый суетился:

— Погляди, бумага на месте? Она нам еще пригодится.

— Тута.

— Деньги забери.

Иван уже не мог видеть, как к его шее привязали камень и вместе с камнем бросили его с моста в реку.

— Прими душу раба Твоего — Ивана, — сказал бородатый, и все трое быстро пошагали в сторону леса.

Это произошло в 1992 году. Когда я взял из почтового ящика письмо от бабушки — уже тогда недоброе предчувствие овладело мной. После недолгих приветствий она сообщала, что ЗАХАР ЗАСТРЕЛИЛСЯ!!

Далее следовало описание этого происшествия, но и без него перед моими глазами всплывал тот роковой день.

... Молния сверкала на небе огненными шрамами.

Разбивая воду подошвами сапог, Захар шел по размытой дороге, и дождь маскировал слезы на его щеках. Ружье было упаковано в непромокаемый чехол. Из-за непогоды улица села была безлюдна, и это было на руку Захару — не было никакого желания с кем-либо встречаться.

О чем он тогда думал? Наверно, восстанавливал в памяти наиболее яркие моменты своей судьбы, которой он доверял, как слепой поводырю, и которая сама оказалась слепа. Может, прокручивал в голове возможные варианты страшного возмездия, которое он должен свершить за все свои страдания.

Нет! Тогда Захар не думал ни о чем. Уверенно, не разбирая дороги, он шел к избе Зойки, и глаза его, залитые слезами и кровью, светились диким, заповедным блеском.

Еще утром, узнав роковую весть, он решился на отчаянный поступок. В чем именно должен был выражаться этот поступок, Захар не знал, но бездействовать было нельзя...

Он постучал в ворота:

— Зойка! Открывай, гадюка!

Ответа не последовало, лишь собака залаяла во дворе.

— Ну держись! — Захар изо всех сил надавил на ворота, но они не поддались.

Зойкина изба была срублена на совесть — ворота были металлическими, а на окнах стояли решетки. Строили ее для медпункта, но медпункт почему-то остался на прежнем месте, а в свежесрубленный дом как молодого специалиста поселили Зойку.

— Открой, паскуда!

Подождав немного, Захар подошел к окну и прикладом ружья выбил стекла.

— Открывай! Я знаю, что ты дома.

В груди так и переполаскивало звуками мерзкой симфонии. Мучительное безрассудство овладело Захаром, и он упал на колени со стоном нечеловеческой нежности:

— Зоя! Зоя!! Пожалей меня!.. Зоооояя!!...

— Захар, ты пьяный, — услышал он ее голос. — Уходи, пожалуйста. Проспись.

Захар поднялся с колен, вытер с лица грязь и слезы и расчехлил двустволку.

— А-а-а, стерва! Я знал, что ты дома! Ну, шалава, признавайся, с кем провела ночь? С этим ублюдком из города?.. С ветеринаром?

— Тебе какое дело?

— Как это “какое”?!

Он не видел через окно Зойку. Похоже, она была за ширмой.

— Какое тебе дело? Он мой жених!

— Убью его!!

И вдруг до Захара из окна донесся голос ветеринара — вчерашний студент допустил непростительную ошибку:

— Послушайте, перестаньте безобразничать. Завтра вы протрезвеете, и вам будет стыдно. Вам придется вставлять выбитые стекла...

Захар выстрелил в том направлении, откуда доносился мужской голос...

Бутыль была пустая. Федор сидел за столом и обреченно смотрел на дрожащие руки.

Похмелиться было нечем, а за окнами раздражающе блуждала ночь.

Он в очередной раз поднял бутылку и убедился, что она пустая. Кружка — тоже.

Сегодня днем, предварительно наточив, Федор принес в комнату косу, и сейчас она лежала рядом со столом.

“На весь свет бесчестная стала! — думал он о Марье. — Ладно, ворота дегтем не мажут. Все суседи зубы моют. Будут тя сельские парни кажинную ночь в клеть водить. Ой же осветила на всю честну землицу! В древние лета я б ты враз порешил, вот эфими руками! — снова посмотрел на дрожащие ладони. — Вусмерть излупцевал бы!.. За че ж мне такую меку нести? Куды опосля эфтова очи воротить?”

Федор давно понял, что жизнь его назначена в жертву какой-то страшной язве; и несправедливость, что принесена в жертву именно его жизнь, нестерпимо выжимала сознание. Он не мог спать, если в крови не было хмеля. Воспоминания, беспощадные тяжелые воспоминания расплавляли воспаленный мозг и не давали ни минуты покоя непохмеленному нутру.

А похмелиться было нечем.

Федор встал на ноги. Глаза его горели, во всех членах было изнеможение. Он нагнулся за косой, но в тот же миг у него потемнело в глазах так, что он едва устоял. Казалось, по голове ему били увесистым молотом. Все же он поднял косу.

Разогнувшись, Федор прислушался. Вроде кто-то окликнул его, но, постояв с минуту, он решил, что ему показалось.

Он бесшумно подошел к нарам Марьи, остановился. Подумал: “Спит али нет?” Сердце молотило, словно старалось выдавить из себя гнойный нарыв.

Федор отодвинул занавеску и вошел. Марья спала.

“Четыре недели уж минули”, — одними губами проговорил он и, взяв косу за концы, занес ее над горлом Марьи...

Но что-то его остановило. Видимо, теплое дыхание дочери, которое полностью противоречило смерти, которое показывало всю ее нелепость.

Федор поцеловал Марью в лоб. Она проснулась, открыла глаза.

— Тять, ты че?

Он резко опустил косу вниз и провел в сторону.

Металл легко вошел в шею, и теплый фонтан хлынул в лицо убийцы. Марью передернула судорога, затем вторая, поменьше. Последняя.

— Прости, — прошептал Федор, вынул косу и бросил ее под нары. Потом вытер лицо рукавом и посмотрел на Марью. Глаза ее были открыты, а взгляд направлен на него.

— Господи!! — вырвался из нутра Федора сип. Он опустил веки, а когда снова поднял их, то увидел, что голова Марьи к стене повернута, даже запрокинута малость. Так что лица ее не видать было. Федор прикрыл занавеску и пошел к столу.

Где-то поблизости завывала собака...

... — Он сумасшедший!! — закричал ветеринар, и Захар, поняв, что промахнулся, нажал на второй курок.

Но ружье дало осечку.

Из ближайших домов к нему бежали люди. Времени на перезарядку было немного.

Захар достал из кармана два патрона, но руки его не слушались. Чтобы как-то унять дрожь в теле, он с размаху ударил кулаком по прутьям решетки. Из пястья засочилась кровь, но боль придала силы к действию.

Едва он успел перезарядить двустволку, его окружили люди.

— Захар, брось дурачиться! — крикнул кто-то из мужиков. — Отдай ружье.

— Не подходи! — Захар направил стволы на незваных свидетелей.

Толпа отшатнулась.

— Ну, кто смелый?.. Пристрелю!

И тут он заметил, что в избе ветеринар с Зойкой переметнулись за печь. Там их достать было невозможно.

— Захар, — начала фельдшер Светлана Николаевна, — брось ружье. Пойдем, я тебе поднесу стаканчик. Отоспишься, отдохнешь. А завтра оно все по-другому покажется...

Захар приставил стволы к своему подбородку и закрыл глаза. Он почувствовал, как плавно, мощно несет его земля.

— Будьте вы все прокляты, бляди!!

Один из мужиков бросился к нему.

— Я вас всех в рот...!!! — Захар надавил на курки, и вместо последнего ругательства наружу вылетели багровые мозги.

Его руки как-то наигранно взметнулись вверх, словно пытались догнать освободившуюся душу, и в тот же миг молния разорвала небеса, оглушая громом по безвременной гибели.

На улицу выбежала Зойка и припала к бездыханному телу. Увидев то, что еще минуту назад было головой, она тихо завывала.

Вскоре из ворот вышел ветеринар. Он посмотрел на собак, которые слизывали теплые мозги, и произнес только:

— Глупо.

Зойка же в каком-то бредовом исступлении пыталась поднять тело мертвого и поставить на ноги. Но все ее старания были тщетны, она снова и снова роняла труп в грязь. И лишь ее кофточка и растрепанные волосы украсились при этом червлёными пятнами.

А дождь все лил и лил. Казалось, там, на небе, кто-то оплакивал нелепую смерть...

Тело Марьи еще не успело остыть. Федор в забытии сидел за столом. Как вдруг что-то пробежало по полу, потом по стопе и юркнуло под портки.

“Черт, мышь, что ли?” — подумал он и тут же почувствовал, как это существо мечется по его ноге, поднимаясь выше и выше. Федора передернуло. Он вскочил, разорвал на щиколотках подвязки и начал прыгать, надеясь, что эта мерзость вытряхнется из его одежды. Но противное существо было уже не в одиночестве. По всему телу Федора ползали какие-то животные, особенно омерзительно шоркало за пазухой. Он зажег свечу и осатанело стал рвать на себе одежду.

— Ну, твари, где вы?!

Под одеждой ничего не оказалось.

Лихорадочно дрожа, Федор, весь покрытый кислым потом, сел на лавку.

“Гадость какая!”

И тут он отчетливо понял, что в бутылки еще осталась брага. Да-да! да-давеча он ошибся. Брага еще осталась! Он спасен!

Федор бросился к столу, но бутылка была пустая.

— Господи! — застонал он. — Али не жил я по христианскому закону — во всех обычаях без лукавства и безо всякой хитрости? Али богатство наживал несправедливостью? Дом пуст и имению тщета... И бутылка пуста...

— Пуста, — услышал он за спиной.

В груди у Федора екнуло, что-то закишело в голове. Он осознал, что сзади стоит Марья. Однако же, обернувшись, Федор никого не увидел.

Теперь он не сомневался, что Марья спряталась за занавеской, и, взяв свечу, направился туда.

Только он подошел, как отчетливо услышал какой-то шорох и, сглотнув несуществующую слюну, перекрестился.

Было тихо, даже слишком тихо. Лишь дрожало пламя свечи от чьего-то дыхания.

Федор отдернул занавеску и тут же отпрянул назад. Окровавленная, перед ним стояла Марья, и голубым огнем светились глаза ее.

Он упал и при падении ударился головой о косяк. Свеча выпала из рук.

Федору пригрезилось, якобы он в бане: от каменки — пар и шипение, полок романовой травой благовонит. Мовь блаженная. Замочил Федор березовый веник, хлещет себя по желтой коже — хворь выгоняет. Пришло самозабвение, запирающее боль в тайное место и не дающее ей вмешиваться в радости жизни. Да тут вдруг почувствовал Федор запах, от которого живот сводит. “Удушуюсь”, — подумал он и — вернулся в осознание.

Федор снова зажег свечу и подошел к нарам. Марья лежала на своем месте, и никаких признаков не было, что она вставала.

“Привиделось”, — догадался Федор.

Он стащил с печи тулуп и накрыл им Марью с головой.

— Так-то лучше, — сказал он и задернул за собой занавеску.

И тут же почувствовал запах цветов, исходящий из соседней комнаты. И услышал рыдание, как будто причитала навзрыд дюжина-две плакальщиц.

Когда Федор вошел в комнату, свеча погасла, словно задул кто. Но и без ее света разглядел он стоящий на полу гроб. В белом саване, лежала в нем девушка со сложенными на груди руками. Распущенные волосы ее были свежи, а изо рта стекала тонкая струйка крови. Девушка улыбалась, но улыбка эта выражала на бледных губах скорбь и беспомощность.

Федор знал покойницу. Это была его жена, убитая им много лет назад...

Преклонив голову, он вышел из комнаты, затем достал с печи веревку и сладил петлю.

Где-то прокричал петух. И сразу же невдалеке откликнулся другой кочет фальшивым, но авторитетным голосом. Рассветало, и через сизый туман проступали очертания изб и огородов.

Еще раз убедившись, что бутылка пустая, Федор привязал конец веревки к подпорному брусу, встал на лавку и надел петлю на шею.

“Помер я давно, — подумал он, — а хочется не расставаться...”

Федор увидел, как распахнулась занавеска, прикрывавшая нары, и из-за нее вышла...

— Марья!!!...

Лавка выскочила из-под ног, и, сдавленные петлей, громко хрустнули шейные позвонки...

С автострaды доносился звук от машин, на который не хотелось отвечать. Андрей гулял по асфальту в направлении от своего дома. Ничейная собака мечтала ему понравиться и вертелась у его ног, обещая усердие.

— Уйди насoвсем, — сказал ей Андрей.

Он шел посреди осени. На земле погибали листья, нанося тем самым печаль дворникам и поэтам.

Андрей вспоминал утренний разговор с женой.

— Ты без креста в голове! — волновалась она. — Об твою голову только гвозди выпрямлять! И как ты только живешь промежду людей? И кто тебя, такого, только на работу принял? Тебе только водителем лунохода работать...” Андрея тогда угнетала участь бесцельного мученика. Казалось, жена делала слова из какого-то мерзкого звука: “Мне всего два года жизни осталось до сорока. А ведь я хочу еще иметь детей. Вона у соседки — целых двое. А от тебя — жди от морды погоды: не то что детей, зарплаты не увидишь. Я уже три демисезона без пальта хожу!...” Андрей открыл окно, чтобы подышать свободой, затем погладил сидящего на подоконнике кота, и тот сообщил воздуху одинаковую мурлычную песню. “Ты, Андрей, стареешь с каждым вдохом. Погляди на себя в отражение. Даже разговаривать стал по-стариковски — не поймешь ни черта...” — “Не кричи в голову, она и так болит, — резонно вставил Андрей. — Я ухожу, а ты ругайся внутри”...

Смеркалось. Андрей нечаянно завидовал облакам, уходящим вперед жизни и умирающим с опережением. “Неужели я живу взаправду? — думал он. — Или это кто пошутил?... Да, супружничать — это не грибы в лесу собирать: тут можно заблудиться и покруче, — Андрей пустил по щеке слезу. — Расшнуровался я что-то, вроде старого ботинка”. Он шел вперед, отдаваясь сожалению.

По сторонам проходили редкие люди, появляясь и исчезая в своей озабоченности, а над землею мчался ветер, которого нельзя было ни рассмотреть, ни остановить.

“Зря жизнь живу, зря расходуюсь. Может, Бог запасную жизнь подарит, когда я в этой поумнею?...”

Из-за многоэтажки выходила густая туча, грозящая пролить на мир холодную воду. Андрей больше любил, когда сверху капали звезды, но над землею стояла сизая высота и мешала им просочиться.

Беспокойная птица летела куда-то в одиночество. Андрей вышел на чуждую его восприятию улицу. Теперь, казалось, голова у него существовала некой отдельной жизнью: в ней то и дело вставляли вопросы, и нельзя их было положить обратно.

— Зачем я вырос на любовь и мучение? — застонал Андрей звуками.

Навстречу из сумерек вышел старшина милиции. Его мозг, живущий под фуражкой, не отличался избытком борозд, а перепахать его сыз-

нова было невозможно. Несмотря ни на что, старшине удалось сохранить от детства чистоту в середине сердца, и он торопился делать приятное для всякой живности.

Милиционер подошел к Андрею и спросил, зачем он здесь есть?

— Живу, — сказал ответ Андрей. — Не жить — страшно.

— Где живешь?

— В этой вселенской невзрачности... Иди куда-нибудь, а то у меня понятие расстраивается.

Старшина принялася:

— А разит как! Где нализался-то?

— От меня сейчас не спиртной дух отходит, это душа растрачивается, — произнес Андрей. — Там у меня, в середине души, трещит что-то, какая-то перепонка лопаается. И все внутренности пекутся насквозь, вот я их и заливаю. От меня, как от папоротника, смертью дышится. Я грустью болею, так что уходи в сторону — заражу.

Старшина все-таки решил проводить его до дому, чтоб он тут не остался, но Андрей запротестовал:

— Не пойду, там жена без сознательности лютует... Не хочу спать с чужим телом!

— Пойдем, пойдем. Один ты не дойдешь.

— Ладно, — неожиданно согласился Андрей. — Я вообще-то люблю движение в даль и обратно. Только ты меня поддерживай, иначе я упаду навзничь.

— Ты только шагай попрямее.

Уже стемнело. Старшина вел Андрея, поддерживая его под руку, — так же, как некогда вводили апостола Павла его спутники в Дамаск.

— На меня воздух давит, его много, — дорогой доказывал Андрей. — А когда пьешь, сам себе незаметнее становишься. Вот я и заливаю полость... Раздели мое томление — мне меньше останется.

— Пить — плохо! — указал милиционер.

— Слушай изо рта, горожанин! — повысил на него голос Андрей. — У меня есть две живописи — портреты Марьи. Один — мой, другой — деда Якова, который завещала мне баба Васса. Они одинаковы! — И он сбивчиво и неопределенно поведал о Марье.

— Сейчас она в дурдоме, — кончил историю Андрей.

Старшина мало что понял из его туманного рассказа, однако проявил участие кивком и вздохом:

— Э-хе-хе...

— Слушай! — испугался Андрей. — Ты зачем живешь — по нужде или просто?

— Не знаю, — признался милиционер.

— И я не знаю. Но мне тяжело одному без Марьи. Я ощущаю ее без видимости и томлюсь в смутности. Эх, взять бы ее из психушки и унести туда, где живут лучшие впечатления! У меня к ней слово распространенное имеется — “любовь” называется. И до того во мне много неясности, что существовать замучился... Я заголовки газеты запомнил. Но ты, старшина, пролистай прессу за второе полугодие девяностого лета, найди ее портрет — и тогда влюбишься до смущенности!

Старшина пообещал.

Умирающая природа шумела от прикосновения к ней ветра, который приносил со стороны запах гари.

— Любить больно, лучше держать сердце в ущербе. Иначе полюбишь и утомишься.

— Любить — хорошо! — возразил милиционер.

— Правильно, — Андрей понимающе взглянул на своего спутника. — Жизнь в человеке кончается, когда он томиться устает. Дай я возьму тебя за локоть руками, будем существовать вместе до разлуки!

На костяную голову Андрея упала первая капля созревшего дождя. В темноте пробежало какое-то нервное животное, ища приют и отдых.

Андрей подошел к своему подъезду.

— Душевный ты мужик, старшина, — сказал он. — Люби человечество и женщин тоже. Любовь — это когда стыдно ею пользоваться.

— И ты люби.

— Живи до конца, — попрощался Андрей, — иначе умрешь.

— Тебе также, — ответил милиционер.

И Андрей пошагал домой, к нелюбимой жене.